

lettera.org_054

* Конференция и диспут, организованные 13 февраля 1992 центром планирования семьи «Aimer a l'ULB» Свободного Университета в Брюсселе. Подзаголовок гласил: «Связь подсознательных процессов с националистическим разгулом и новыми формами политической организации» Мы воспользовались транскрипцией записи Касториадиса, иногда дополняя текст материалами других записей или заметок автора. Эта же тема была поднята Касториадисом на конференции, организованной в Брюсселе 24 февраля 1994 Комиссией Европейских Сообществ по кадрам.

Cornelius Castoriadis. *Des guerres en Europe* (1992)/ Перевод по изд.:
Cornelius Castoriadis. *Une société à la dérive. Entretiens et débats*
(1974-1997) Editions du Seuil Paris 2005.

Перевод с французского – Наталья Осипова

Все права защищены © автор, переводчик, серия letterra.org, 2011.
ISBN 978-5-8163-0088-9 (серия letterra.org: 054)

Корнелиус Кастириадис ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ

«Войны в Европе» – справедливо, что нашему континенту, как и всем другим, войны знакомы на протяжении, по крайней мере, трех тысяч лет, и без сомнения они бывали и раньше, так как продолжают находки доисторических скелетов со следами насильственной смерти, которую трудно приписать ссорам «частного порядка». Но сейчас мы находимся перед лицом известного положения на Балканах, в бывшей Югославии, и это положение таит угрозу возникновения и в других местах. Вопрос представляется очень современным, но не нужно забывать, одновременно, что речь идет о вечном вопросе, поскольку, к несчастью, – это то, что мы встречаем практически во *всяком* человеческом обществе. Именно поэтому, как это ни парадоксально, кажется почти невозможным создание общей теории войны или общей концепции причин и процессов, ведущих к войне. Концепции, не отсылающей к тривиальностям или столь общим высказываниям, как положения Фрейда, что оставляют нас абсолютно безоружными нас как в теоретическом, так и в практическом отношении. Задаваясь вопросом о войне, мы не хотим просто знать, что существует влечение к смерти, подталкивающие людей к самоубийству. Люди убивают себя между 1914 и 1918, и не убивают себя между 1918 и 1939. В Испании, например, конечно, они себя убивают, но в другом масштабе. Затем присутствует беспрецедентное неистовство в плане развития технических возможностей уничтожения в 1939-1945. Но с тех пор, говоря, разумеется, лишь о Европе, мы готовы побить рекорд 1871-1914 по продолжительности периода без открытых войн, за исключением этих несчастных Балкан. Уснуло ли на это время влечение к смерти? В чем причина этих вспышек, за которыми следуют фазы покоя? Итак, имеет место всеобщий характер войны на протяжении всех периодов истории независимо от социального и экономического строя, техники, систем родства и прочего. Таким образом, проблема оказывается даже

более сложной чем, несомненно, связанная с ней проблема доминирования в обществе одного социального слоя над другим. Потому что мы могли бы найти общества, примитивные племена, где нет такого доминирования, где «власть» «вождя» сведена просто к ритуалу, но мы не могли бы обнаружить общества, не знающего войны. Такова страшная реальность. Мы вернемся к этому в конце этого короткого доклада.

Можно разбить вопрос на два тесно связанных между собой подпункта. Прежде всего, каковы общие для всех форм общественной организации социальные процессы, периодически приводящие к войнам, даже если эта периодичность является относительной. Во-вторых, какие механизмы или психологические, в глубоком смысле этого слова, бессознательные, процессы подталкивают людей, живущих в обществе при одном или другом режиме, убивать друг друга. Возьмем самый очевидный случай: 1914 год. Социалистические партии против войны, на интернациональных конгрессах они заявляют, что рабочий класс ответил бы на войну всеобщей забастовкой и т.д. За один или два дня до начала войны Жореса убивают в Париже. Мертвых нельзя заставить говорить и никто не знает, что бы сделал Жорес. Скажем, что возможно, он был бы против войны. Но спустя несколько дней во всех странах практически все социалистические партии проголосовали за военные кредиты и вступили в «национальные союзы». Те самые солдаты, которые наполовину, на треть или на четверть – не столь важно, состояли из членов профсоюзов или социалистических партий, кричали теперь «На Берлин» или «*Nach Paris*». Они знали, что будут убиты за нечто, не являющееся для них «лично» важным. Если угодно, их увлекло движение толпы, но движение это не было сиюминутным: в окопах они оставались на протяжении четырех лет. Бунты возникали всего лишь несколько раз. Разумеется, они были «вынуждены» оставаться, дезертирство каралось смертной казнью, была дисциплина и т.д. Но давно известно и это повторяли Ла Боэси, Гоббс и Роза Люксембург: ни один военный закон не выстоит против восставшей армии. С другой стороны, именно это случилось в России – оставим за пределами обсуждения то, что вследствие этого произошло. Солдаты, после того как они провозвали, однако же, три года, мирясь с сотнями тысяч смертей, отказались-таки сражаться, фронт обрушился и вслед за ним пало правительство в Петербурге. Таким образом, встает второй вопрос: почему эти люди соглашались убивать и погибать ради ве-

щей, которые, по крайней мере, на первый взгляд не имели для них «личного» значения? И потом, как происходит сочленение этих двух вещей: социальных процессов, ведущих к войне и процессов производства в обществе индивидов, способных убивать и погибать на войне? И здесь, говоря в скобках, еще раз можно увидеть до какой степени загадочной является мысль о стремлении к смерти. Ибо Фрейд говорит, когда речь идет о войне, о более разработанном влечении к смерти, уже обратившемся в тенденцию к уничтожению другого. Но солдат на любой войне знает, что у него есть, по крайней мере, один шанс из двух быть убитым. И, однако же, он туда идет. Еще раз, дисциплины и страха наказания недостаточно, чтобы это объяснить. И так, встает проблема сочленения этих психологических механизмов с процессами, если угодно, с общественными механизмами, подстрекающими к войне. Мне бы не хотелось вас огорчать, но в том, что касается первого аспекта этой проблемы, ни одна из предложенных концепций не кажется мне удовлетворительной. Можно пропустить «демографические» теории войны, как кровопускания, которое род человеческий предпринимает для борьбы с перенаселенностью и истощением ресурсов. Будь это так, мы бы сегодня уж взорвали на планете сотни атомных бомб для изъятия прироста населения, случившегося за последние пятьдесят лет. Так же обстоит дело с «экономическими» объяснениями. Невозможно усмотреть действие «экономических причин» в бесконечном ведении войны между античными полисами, и в частности между греческими полисами, где ремесло граждан в значительной степени заключалась в том, чтобы воевать с соседними полисами. Так же обстояло дело в Риме и вообще в итальянских полисах, как и в феодальных сеньориях в Средние Века. О каких «экономических причинах», подталкивающих этих сеньоров, а позже королей к почти непрерывной войне, кроме очень редких исключений, можно говорить?

Можно выдвинуть вперед и другой элемент: власть как таковую. Государства: монархия, олигархия, скажем, венецианская аристократия воюют ради расширения сферы своей власти, а следовательно, и своей «выгоды». (Однако трудно подумать, что Александр отправляется завоевывать Азию, имея в виду, прежде всего сокровища Дария.) Но кому принадлежит эта власть? Монарху или стратегу. Возьмем Наполеона с его безумием; поведение Наполеона можно понять примерно до 1808 года. Но война в Испании, по его собственному мнению, была заблуж-

дением, а война в России – безумием. Мы скажем, что Наполеон был помешан на войне и опьянен властью. Но за ним следовали пятьсот тысяч французов, погибавших с криками «Да здравствует император!». Что это такое – их власть? (Разумеется, это воображаемое участие в банальном и в глубоком смысле слова.) Если мы захотим любой ценой найти «рациональное объяснение» для войн, единственными более или менее объяснимыми войнами окажутся те, что были вызваны походами для захвата женщин из другого племени: «похищением сабинянок». Шайка мужчин, не имеющих жен, нападает на другую шайку, на другое лучше обустроенное племя, убивает мужчин, забирает женщин. И достигает, таким образом, социальной цели: общество, которое они создали, может воспроизводиться и продолжаться. Одновременно сексуальные побуждения индивидуумов получают удовлетворение. Но этой причине обязана лишь малая доля известных войн – причем самых незначительных.

Попробуем поместить этот вопрос в более общий контекст того, что является для меня обществом, социальным единством. Это группа людей, определяемая фактом наличия глобального общественного установления, социального воображаемого, скрепляющего общество, заставляющего индивидов ему принадлежать. У этой проблемы ряд аспектов. В древнееврейском обществе звезды считались светилами, которые Бог повесил на небе для украшения и себе во славу; для древних греков те же звезды сами были богами, для нас – это массы водорода, превращенного в гелий путем термоядерной реакции. Можно было бы продолжать дальше: так же обстоит дело с деревьями, реками, индивидами в обществе и т.д. Всякий раз имеется собственный мир, присущий каждому обществу. Этот мир характеризуется тремя векторами (имеющими к тому же свой эквивалент в индивидуальной душе) – вектор представлений (Яхве создал мир, это произошло не более шести тысяч лет назад и т.д.), познавательная составляющая мира каждого общества, отвечающая за так-бытие мира в целом и мира социального; аффективный вектор, класс или группа аффектов, созданных данным обществом, например, *вера* в христианском понимании, как таковая до христианства не существовавшая. Наконец, при слиянии этого представления о мире с аффектами возникает *Trieb*, влечение общества. Какое влечение? Возьмем, например, общество, в котором мы живем, западное общество. Как вам известно, речь идет о том, чтобы все больше и больше производить и потреблять, добывать-

ся власти или видимости власти (и при случае появляться на экране телевизора). Если мы обратимся к римскому обществу определенной эпохи, влечение будет выступать расширение территории: границы города (*romerium*) были узки, границы региона (*Latium*) – тоже, как и границы центральной Италии, итальянского полуострова и так далее. И если бы существовало настоящее христианское общество, что по-настоящему никогда не случилось, имелось бы влечение, относящееся к Богу, к поклонению ему. Впрочем, Средние Века верили, что мы здесь для постоянно возрастающего поклонения Богу, что нужно строить соборы все более высокие, обращать в христианство все больше людей и т.д.

Этому сопутствует *социальное производство (fabrication sociale)* индивидов. Исходя из сырого психического материала, который приносит в мир каждое рождающееся существо, общество должно создать говорящих существ, признающих существование других существ. Существ, которые не ведут себя так, как если бы они были центром мира, хотя каждый из них, каждый из нас, всегда является им для себя. Существ, которые не рассматривают других людей исключительно как простой объект своих желаний, но которые склоняются перед общественным законом, нормами и ценностями. Иначе говоря, отказываются, сами того не зная, в ходе долгого и мучительного процесса социализации от самых своих глубоких влечений и желаний. Однако полностью отказ от них никогда не происходит. Доказательством служит то, что люди и мечтают о нарушении социальных норм, и иногда действительно их нарушают. Но, в конце концов, они в основном все-таки отказываются в своем реальном поведении от этих влечений. Поэтому нужно, чтобы общество предоставило им замену. И прежде всего социальные значения: Бог, *polis*, безграничный рост технического совершенства, строительство социализма и т.д. Значения, т.е. смысл и социальные объекты привязанности. Людей также нужно снабдить социальной идентичностью, в которую они могли бы облечься, как в роли, которые им придется играть. Но они не играют, они верят, что являются хорошими функционерами, хорошими воспитателями, хорошими супругами. Этими ролями – с которыми индивид может и должен отождествляться, а иначе он просто не способен существовать в обществе – каждый наделяется обществом согласно положению и обстоятельствам. Даже теперь в почти бесконечной гамме предоставляемых индивиду ролей, всегда

есть те, что предлагаются или предписываются даже индивидам, отказывающимся поддерживать игру: быть маргиналом или хулиганом – это тоже социальная роль. Нужно, и это без сомнения один из наиболее удивительных аспектов всего дела, чтобы все это создавало связь принадлежности с конкретным коллективом, о котором идет речь. Существует социально установленное имя – общественный ответ на вопрос: кто мы? Мы люди, а не животные; цивилизованные, а не варвары; иногда мы -христиане, а не «неверные мусульмане» же или мусульмане, а не «неверные христиане». В то же время, помимо абстрактных определений, существует воображаемое значение этого *мы*, необходимое для того, чтобы существовал коллектив. Значение, содержание которого, с точки зрения истории общества, очевидно *произвольно* (незнание этого факта – одно из многочисленных заблуждений современного псевдоиндивидуализма). Но если содержания установления *мы* в высшей степени изменчивы и произвольны, вовсе не так обстоит дело с необходимостью на это *мы* ориентироваться. И это ориентирование, одновременно как замысел и как конкретный коллектив, относится к такому типу бытия, которое на философском языке мы должны назвать бытием *для-себя*. Общество, разумеется, не является организмом подобно живому существу или человеческой душе, но оно все-таки является бытием-для-себя. Каждый раз оно создает свой собственный мир, мир напускного бытия, и влечение-к... Защищая свое так-бытие, оно защищает себя, иначе говоря, свой собственный мир. У него есть границы, необязательно географические, но ещё более значительные воображаемые границы, поскольку от них зависит, будут ли приходящие извне идеи, представления, поведение усвоены или отброшены, или же, может статься, окажутся губительными для существующего установления общества. Следовательно, у общества есть свои влечения, и первым является влечение к самосохранению. Всякое установление, идет ли речь об архаических установлениях или о древнегреческом или латинском законодательстве, об абсолютной монархии или о мнимых современных демократиях стремиться продлить существование, сохранить себя. Охрана установления, совокупности установлений общества – единственное, что наделяет смыслом идею самосохранения общества (и является несравненно более существенным, чем сохранение, живущих в нем, реальных индивидов).

Здесь имеет место нечто подобное системе самосохране-

ния, включающей защиту себя, в том числе и от внутренних повреждений. Но для «общего объяснения» факта наличия войн этой причины недостаточно. Самосохранением можно было бы, вероятно, объяснить, почему 50 % обществ защищают себя, но этого недостаточно для объяснения того, почему другие 50% обществ их атакуют. Справедливо, что в ряде случаев, причем из числа наиболее существенных, мы уже не знаем, кто «нападает», а кто «защищается». Уже Фукидид это видел: обсуждая причины Пелопонесской войны, он говорит, что она, действительно, была развязана лакедемонянами, потому, что они опасались бесконечного расширения афинской империи. Подобное стечение обстоятельств можно описать и для войны 1914-1918 гг., а также для «Холодной войны» с 1947 по 1985 гг. Но минуты размышления достаточно чтобы понять, что подобная ситуация предполагает в своем «основании» как экспансионистское влечение одного из противников, так и твердую волю к противостоянию со стороны другого. Следовательно, вообще говоря, «нападение» и «защита» равномерно распределены между двумя лагерями. Войны происходят потому, что одно общество до последнего защищает свои жизненные творения, предполагая, что существует другое общество, не желающее смириться с существованием первого. И во всех других случаях, составляющих огромное большинство, война имеет место потому, что речь идет о чем-то ином, отличном от простого стремления сохранить одно из обществ.

Немного задержимся на том, что может показаться питающей саму себя диалектикой нападения и защиты. Конечно, как бы глубоко мы не погрузились в историю, мы находим различные общества во власти соперничества, недоверия, возможности нападения. Короче говоря, мы находим их живущими в мире, где война присутствует как обязательная черта. Этого уже достаточно, чтобы отвергнуть любую «теорию», объясняющую войну той или другой универсальной причиной. Более того, периодически, хотя не «регулярно», этот процесс питается сам собой, возобновляется исходя из факторов, которые не представляют собой единства. Города и королевства Месопотамии воюют между собой, растут, гибнут или подвергаются завоеванию. Египет фараонов участвует в этой игре с тех пор, как он стал известен. Потом появились мидяне и персы, воздвигшие огромную империю, но, не удовольствовавшись этим, при Камбисе они нападают на Египет. Почему на Египет? Геродот говорит,

что Камбис был безумен. Но он не говорит этого о Дарии, который напал на скифов, а потом на греков. Почему Дарий любой ценой хотел расширить государство в западном направлении? В конце концов, это обернулось против него. Но греки, победители персидской империи, немедленно начали воевать между собой, и это продолжалось сто пятьдесят лет! Я пропускаю Александра, Диadoхов, римлян с их империей, Византийскую империю, чтобы дойти до седьмого века после рождения Христа, когда случился необычный феномен: исламская экспансия. Религиозный взрыв, но также и вспышка войны, повлекшая обращение или колонизацию завоеванных народов. Еще в шестом веке арабов не было ни в Египте, ни в Северной Африке, ни в Месопотамии, ни даже в Палестине и Сирии. Но уже в седьмом веке все эти страны были исламизированы и «арабизированы». Были ли для этого какие-либо экономические причины или даже властные? Нет, речь идет, прежде всего, о «распространении веры Пророка». Иначе говоря, речь идет о распространении нового общественного установления, помещающего в центр внимания новую религию, которая преобразует общество арабских племен шестого века, вдыхая в него новое *влечение* к завоеваниям (мусульмане бы сказали: божественную миссию – вдаваться в споры мы здесь не будем). Это продолжалось определенное время, затем, начиная с десятого века, пошло на спад, и огромная арабо-исламская империя стала добычей внутренних разногласий и т.д. С другой стороны, византийцы всегда считали, что обладают «правами» на территории, принадлежавшие им несколько веков назад. На протяжении веков мы являемся свидетелями конфликтов на восточной границе Византийской империи. Затем к концу десятого века мы видим, как появляются монахи, папы, недовостребованные сеньоры, маргиналы обнаружившие, что им необходимо любой ценой освободить святые места христианского мира. Начинаются крестовые походы. И в течение девяти последовавших веков им сопротивляются сначала турки сельджуки, потом турки османской империи, время от времени заменяемые арабами, более или менее подчиненными туркам. Средиземноморье и Балканы превращаются в подвижную границу христианско-исламской войны, которая довольно скоро перестает быть чисто «религиозной», как это очевидно и на примере союза Франциска I-го с турками, и на примере Крымской войны.

Отметим аналогии с нынешней ситуацией в Югославии.

Сербы говорят: без Косово Сербия больше не Сербия, или: мусульмане из Боснии не имеют никакого права «у нас» оставаться. Ибо Косово, и это, действительно, верно – историческая колыбель сербского народа, населенная главным образом албанцами мусульманского вероисповедания. Неважно: сербы были там *некогда*. На протяжении веков войны каждое сообщество создало свое собственное «мы», в зависимости от того, что оно рассматривала как свою «историю». Историю по большей части воображаемую в самом плоском значении этого понятия: фиктивную, сфабрикованную, историю, которую «сами себе рассказывают», сглаживая все то, что в национальном воображаемом может быть «обидным» для нации. Победы возносятся до небес, поражения сводятся к минимуму и относятся на счет разнообразных предательств или злополучных происшествий, в любом случае они демонстрируют варварство и зверство противника и т.д. Мы считаем нормальным, чтобы в Париже был вокзал Аустерлиц, авеню Ваграм, Йена, и т.д., и не было площади Ватерлоо или Трафальгар. Но они, тем не менее, есть в Лондоне. Глядя из Франции, наполеоновские войны представляют собой череду побед, которая плохо закончилась из-за предательства саксонцев при Лейпциге и нерешительности Груши при Ватерлоо. Глядя из Англии – это героическое и настойчивое сопротивление тирану Наполеону, получившее достойное вознаграждение на плато Святого Иоанна. С точки зрения Греции, вся история Ближнего Востока сводится к вопросу: как греки, которые должны были бы править, по меньшей мере, в пределах империи Александра, оказались загнанными в современные границы? С точки зрения турок, главная загадка истории в том, почему турки не находятся все время у ворот Вены, в Алжире и в Месопотамии? Позиции истинного националиста фатальным образом таковы. Однако для «современного» европейца – это позиции, вообще говоря, непостижимые, ибо справедливо, что в Западной Европе этот вопрос за последние десятилетия оказался *более или менее* «урегулирован» (нам известны все исключения). И люди больше не относятся к территориальным границам «своих» наций, как прежде. Но если мы переместимся в Центральную и Восточную Европу, включая Балканы, мы увидим, что здесь устойчивость границ не обеспечена, и люди до сих пор не готовы *волей неволей* смириться тем, что отныне они живут так. И это именно то, что мы видим в настоящее время в Югославии: мы там были раньше, и мы должны быть там те-

перь. Мы – истинные владельцы этой земли. Очевидно, что если вы переместитесь с этой точкой зрения в Палестину, проблема окажется безнадежно неразрешимой. Кто был здесь «раньше»? «Раньше» кого? Турки, арабы, франки, византийцы, римляне, греки, персы, египтяне, евреи...? Возможно, нужно было бы найти другую землю для израильтян и для палестинцев, и вернуть Палестину потокам неандертальцев (в конце концов, они отыщутся), поскольку доказано, что неандертальцы жили там сто тысяч лет назад. Но с точки зрения воюющих партий – это, разумеется, мысль богохульная. Очевидно, что взывание к истории может привести лишь к непрерывной войне. Теоретически вполне respectable принцип мог бы вывести нас из этого тупика: воля населения, занимающего территорию в настоящее время. Но этот принцип можно было бы применить, лишь согласившись с неизменностью существующих границ. Но границ, существующих с *каких пор*? Турки оккупировали Кипр в 1974 г., и водворили там турецкое население из Анатолии. *Сегодня*, если мы проведем референдум в оккупированной турками части острова, «воля населения» без сомнения будет заключаться в создании независимого турецкого государства или в присоединении к Турции. В Югославии на территориях, завоеванных сербами в 1989 г., произошло бы то же самое.

Откуда эти постоянные обращения к истории? Потому что одним из основных измерений общности, конкретного подлежащего рассмотрению общества является эта мнимая «коллективная память». Память, которую смешно было бы называть избирательной, ибо она *абсолютно произвольна*. Исторические факты довольно трудно устанавливать, и ещё гораздо труднее установить их значение. Суждения, высказываемые по их поводу, по большей части совершенно бессмысленны. Эти псевдосуждения не отражают, вообще говоря, ничего кроме предрассудков. (И гносеологически оба возможны лишь исходя из бесчисленных предрассудков). Несколько лет назад полковник Каддафи заявил в интервью, что если бы не злополучное историческое поражение в битве при Пуатье от Карла Мартелла, то ислам был бы сегодня европейской религией. Очень правдоподобный взгляд, мотивированный пожеланием, чтобы так и было, который может показаться смешным, только если рассматривать его с позиций столь же произвольного симметричного предрассудка, а именно: что европейская история вполне сама по себе удовлетворительна по крайней мере с этой стороны. Для того чтобы иметь возможность над этим смеяться, нужно открыто утверждать, что исламские

религия и цивилизация «ниже» христианского католичества.

Ещё раз отметим, что эти черты не являются исключительными или характерными для современного периода. Эта воображаемая память с необходимостью является основанием любой коллективной идентичности, так же как сознательно сфабрикованная псевдопамять является, как это показывает психоанализ, основой того, что мы называем личным тождеством. Эту коллективную псевдопамять мы найдем в разной форме уже в мифах о происхождении, в легендах о герое-основателе и т.д., во всех обществах, какими бы они ни были архаическими. Но справедливо, что особое творение Нового времени: национальное государство (здесь у меня нет возможности касаться вопроса о том, в чем своеобразие этой формы государства по отношению к другим, на первый взгляд аналогичным формам, таким, например, как Китайская империя) довело её до невиданного обострения. Эта форма создана в Европе: во Франции, Англии, Испании. И мы распространили её по всему миру, побуждая к созданию искусственных национальных государств, как в Африке, где можно наблюдать настоящий эксперимент *in vivo*, создание *ex nihilo* «национального сознания», например, центральноафриканского. Что такое центральноафриканское национальное сознание? Разумеется, в том, что я говорю, нет никакого оценочного суждения. Но из того, что в Европе существуют национальные государства, не следует, что нужно или хорошо было бы, чтобы они существовали повсюду. Одно дело – чтобы африканские народы приобрели независимость. Но почему это должно произойти в форме создания национального государства? Мы сказали бы, что в современном мире никакое общество не может стать независимым или, если угодно, суверенным, если не облечется в эту форму. Но очевидно, что это неверно, причем даже в рамках существующего установления международного общества. Оттоманский султан был сувереном и вел переговоры с европейскими державами, тогда как его империя была мозаикой этносов, которые могли презирать и ненавидеть друг друга, но, тем не менее, сосуществовали на протяжении пяти веков. Следовательно, неправильно было бы выводить неизбежность существования формы национального государства из «реальных необходимостей» международной жизни. Но верно также, что его необходимость – другого, более глубокого, порядка: национальное государство стало одним из нуклеарных воображаемых значений современного прозападного общества. Разумеется, это значение или установление великолепно под-

ходит новой бюрократии и местной олигархии (африканской или другой), но – короткого размышления будет достаточно, чтобы это заметить – ни необходимым, ни достаточным для их образования оно не было. Только в воображаемом (идеологическом) плане в контексте прозападнической «модернизации» планеты «было нужно», чтобы жители восточной Новой Гвинеи или Мали, обеспокоенные угрозой оказаться «хуже» других, стали «нацией». Именно в качестве инициаторов, главных действующих лиц и лидеров некой «национальной борьбы» или «национальной независимости» олигархи-бюрократы («демократы» или «социалисты») сумели с помощью Запада или русских пробиться к власти. Перед нами стоит проблема преодоления этого воображаемого значения: национального государства – ради другой формы коллективной идентичности. Проблема – в трудностях, которые встречаются на пути к этому преодолению.

Здесь я подошел ко второй части вопроса: к психической переменной. Обобщу вкратце свою концепцию. Человеческое существо начинается как замкнутая в себе психическая монада, не знающая реальности и не желающая ничего о ней знать. Эта монада должна быть частично разрушена для того, чтобы отдельное человеческое существо смогло выжить. Условием этого выживания является социализация, превращение в социального индивида. Этот процесс социализации впервые начинается, когда мать отворачивается от ребенка, уже это является насилием над психикой. Подкрепленная, разумеется, процессом нейропсихологического созревания, эволюция индивида – это наращивание пластов социализации, превращающих, в конце концов, человека в мужчину, женщину, президента Республики, рабочего, профессора, футболиста, мидинетку и т.д. Этот процесс всегда разворачивается на фоне двойственности: объект любви одновременно обязательно является объектом ненависти, грудь всегда бывает одновременно и хорошей (когда она присутствует) и плохой (когда она отсутствует), и эти свойства переносятся на личность, с которой они так или иначе связаны. Факт выживания человеческой расы показывает, что в подавляющем большинстве случаев «позитивные» аффекты преобладают над «негативными», это несколько не исключает постоянного присутствия негативных аспектов. Это заметно в амбивалентности отношений детей и родителей, как и в амбивалентности сексуальных отношений. Мимоходом давайте заметим, вопреки известной демагогии современного феминизма: нигде эта амбивалентность не бывает так

велика, как между матерью и дочерью, никакая ненависть между сыном и отцом не достигает накала, разрушительности, болезненности и жестокости той ненависти, которую клиника часто обнаруживает между матерью и дочерью. Констатация, которая ведет к некоторому скептицизму по отношению к идее, согласно которой именно мужчины всегда привносят ненависть, насилие и зло в историю человечества, тогда как женщины всегда остаются на стороне любви, ангельской мягкости и т.д. Ненависть всегда одна и та же, даже если она скрыта, ненависть к другому – самая прегнантная её форма. С этой точки зрения можно было бы взглянуть на любое устройство общества вплоть до наших дней, как на огромную машину, задуманную и построенную для отведения вовне, по направлению к «другим», ненависти и агрессивности, которые существуют внутри общества. Это отведение агрессии никогда не бывает вполне успешным, способы отведения различны и очень сложны. Возьмем два более или менее привычных для нас примера: Древнюю Грецию и современное западное общество. Греческие города проводили, так сказать, время, воюя между собой под вполне ничтожными предложениями. В то же время главной характерной чертой греческого человека было то, что Якоб Буркхард назвал агонистическим элементом. *Agôn* – борьба, сражение. Сегодня говорят об олимпийских «Играх». В Олимпии речь шла не об играх, а о борьбе. Там не убивали друг друга, но греки рассматривали это как борьбу, сражение. В Афинах «конкурс» трагедий был *tragikos agôn*, «соствязанием трагиков». Так внутри города агонистический элемент канализируется путем «соперничества», «соревнования», посредством высоко ценимой и способствующей функционированию города деятельности. Кто станет самым доблестным солдатом на войне, лучшим оратором перед народом, лучшим трагическим поэтом, самым сильным спорщиком и т.д. Агонистический элемент входит в жизнь античного полиса и в ней используется. Отметим, что дело обернулось плохо, по меньшей мере, в Афинах, когда во время Пелопонесской войны поиски политического превосходства были отделены и освобождены от всяких других элементов: у некоторых демагогов, Алкивиада и т.д. Нечто подобное существует, по-видимому, в современном капиталистическом обществе под видом экономической конкуренции и внутренней борьбы в структурах иерархической бюрократии, существует – помимо необходимого отведения агрессии вовне. Отметим, что и в том, и в другом случае, вопреки «духу торговли» («*doux*

commerce») Монтескье, внутреннего отведения агрессии совершенно недостаточно для её устранения – ее всегда будет хватать для направленной вовне формы агрессии.

Ведь имеется ещё одна более сложная и темная сторона дела: ненависть к себе. В любом индивиде всегда гнездится глубокая ненависть к себе. Эта ненависть направлена против того, чем каждый индивид должен был стать в качестве индивида социального. В конце концов мы никогда не смирится с тем существом, которым общество заставило нас стать. Психическое ядро всегда питает ненависть ко всем уровням социализации, мало по малу, наслоившимся вокруг него. Ненависть к слоям, откровенно противоречащим его самым сильным побуждениям: всесилию, эгоцентризму, безграничному нарциссизму. Как таковая эта ненависть редко себя обнаруживает. Но когда мы рассматриваем крайние проявления ненависти, как, например, при расизме, трудно понять их иначе, чем как массивный перенос ненависти к себе на кого-то другого (на категорию других), иначе говоря, как перенос в этом комплексе желания и аффекта, сохраняющихся при смене объекта. Это не я негодяй, а еврей или африканец, или араб; это не меня нужно уничтожить, а его. Очевидно, что в реальности все это бесконечно лучше разработано, снабжено разнообразными рационализациями и т.д. Другой будет обряжен в ту или другую характеристику: еврей «сосет кровь народа», араб «неприятно пахнет» и «захватывает страну» и т.д. Ужасы расизма непостижимы иначе, как исходя из этой ненависти к себе. Будь это не так, не было бы расизма в его наиболее опасной форме, а существовали бы лишь попытки насильственного обращения, как это, действительно, в изобилии случалось в истории.

Но Гитлер не стремился сделать из евреев хороших нацистов: никого не спасли ни медали за войну 1914-1918, ни любовь к германской родине. Как ещё никем до сих пор не было замечено, существо расизма в его крайней форме заключается в том, что другой не подлежит *обращению*. Это прямо противоположно тому, как было с арабскими завоеваниями или с распространением европейского христианства, стремившегося к обращению (или к эксплуатации) других и более или менее в этом преуспевшего.

<Давайте подведем итог. И прошу прощения, если изложение в этом месте покажется вам слишком сухим. Ненависть к себе, как об этом свидетельствует это (психическое и телесное я), следовательно, всегда присутствует, но по большей части в скры-

том виде (работая без шума). Ненависть к себе, соединенная с негативной составляющей амбивалентной привязанности к другому – либо, а это есть то же самое, с монадическим эгоцентризмом или неискоренимым аутоцентризмом, – превращается в ненависть к другому. Путем этого превращения аффект и желание сохраняются посредством смены объекта. Обращение другого в религиозном смысле соответствует вторичному нарциссизму: он должен стать как я, Я расширяется. Невозможность обращения другого соответствует его уничтожению, независимо от соображений реальности и разума. Убийство короля Дункана или Банко является «рациональным по отношению к цели». Аушвиц таковым не является. И всякий раз, когда мы сталкиваемся с уничтожением ради него самого, мы имеем дело с подобной возможностью обращения.>ⁱ

В итоге, у меня нет готового ответа на связанное с этим проблемным полем множество вопросов. В значительной степени ответ зависит от изменения общества: социализация индивидов может измениться в направлении их автономии, лучшего знания себя, а также усиления контроля над бессознательными импульсами. Это основной аспект. И это воспитание должно будет дать другой ответ на вопрос: кто мы? Но здесь мы встречаемся с парадоксом. Я предлагал прежде и предлагаю теперь в качестве девиза автономного общества следующий ответ на вопрос «кто мы?»: «Мы те, кто сами для себя устанавливают законы и могут изменять их согласно своему желанию или необходимости». Действительно ли мы таковы, является ли законным такой тип общества? Мы не можем воспитывать людей в таком обществе, не прививая им мысли о том, что это единственный достойный для человека способ в обществе жить. В любом случае, – это то, что мог бы сказать я. Но что можно было бы сказать о других? О тех, например, кто готов убивать инакомыслящих? Убить Салмана Рушди? Относятся ли они к числу людей «низшего сорта»? Сегодня мы бы сказали, что они «другие». Но мы не сможем исполнить то, что мы думаем о свободе, справедливости, автономии, равенстве, если ограничимся разговорами о «различии». Однако это то, чем занимается гнусный псевдолевацкий сброд или современная псевдодемократия, именно что ограничивающаяся болтовней об этом «различии». Есть люди, верящие в свободу и демократию, и есть люди, верящие, что нужно отрубать руки вора. Ацтеки приносили человечес-

ⁱ Этот отрывок сохранился в записях Касториадиса, но отсутствует на магнитофонной ленте.

кие жертвы. Является ли это простым отличием? Допустим, появилась новая вера, приведшая к созданию в Брюсселе или в Париже братств отрубателей голов. Имеем ли мы здесь дело с «отличием», заслуживающим уважения? Мы хотим создать автономное общество. И если мы этого хотим, мы считаем его предпочтительнее, а значит лучше всякого другого современного или возможного общества. (Ибо вряд ли мы осмелимся утверждать, что политические режимы подобны кулинарным вкусам.) Но, зная, что такое автономия и что она предполагает, нам не пришло бы в голову насильно навязывать её другим: это было бы противоречием в понятиях. Существует тонкая грань, по которой – как теперь, так и в менее плачевном будущем – мы должны ходить. Мы должны утверждать ценность автономии, свободы, справедливости, равенства, свободной мысли, свободного обсуждения, уважения к мнению другого и в то же время не обращаться с людьми, которые не разделяют этого мнения, как с людьми низшего порядка. Мы можем лишь попытаться разумно их убедить. Это кажется *почти* невыполнимой задачей, ибо, как только этот другой сошлется на святое Писание, содержащее божественное откровение, разумное убеждение *почти* теряет смысл, потому что для другого высшим критерием не является разумный характер того, что он говорит, а лишь соответствие этого божественному откровению. Так под вопрос ставится сама идентичность общества, определяющегося своим отношением к автономии, ибо эта автономия лишится как ценности, так и существования, если в случае необходимости мы не будем способны защищать её ценой нашей жизни. <Во всяком случае, точкой отсчета для этой коллективной идентичности, без которой невозможна социализация человеческого существа, не должна стать «территория» или псевдоисторическое «воображаемое». Точкой отсчета должен стать сам проект индивидуальной и коллективной автономии, действительно, коренящейся в истории и традиции, но именно в истории и традиции борьбы за автономию и свободу.^{i>}

ⁱ Этот отрывок сохранился в записях Касториадиса, но отсутствует на магнитофонной ленте.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нет ли также и загадки мира? Вы ничего не сказали о народах, никогда не знавших войны: Нуэр, Мурия, жители острова Тробриан.

Сказать, что не существует общей теории войны – значит сказать, что нет и общей теории мира. Война и мир, с этой точки зрения, две стороны одной медали. Мы можем лишь осветить некоторые аспекты проблемы, но не решить её целиком. Я охотно соглашусь с тем, что на несколько тысяч известных нам обществ, приходится три или четыре общества, не изведавшие жестокий феномен, который мы пытаемся понять. Это значит, что за исключением тысячной доли, все общества знакомы с войной и знали ее в прошлом. Но именно периоды мира ставят проблему перед всякой общей теорией. Возможна теория войны «ньютоно-марксистского» типа: имеются накапливающиеся «причины», происходит взрыв, потом период разрядки, затем все начинается снова. Но тогда должна была бы существовать периодичность, которая была бы объяснима хотя бы в грубом приближении. Любая общая теория войны должна объяснить и периоды мира. Я уже говорил о влечении к смерти у Фрейда: что оно поделывает в мирное время? Справедливо, что регион, где жил Фрейд, не знал войн между австро-прусским конфликтом 1866, когда Фрейду было десять лет, и громовым ударом 1914. Разумеется, этот период «мира» знал множество войн. Но это были войны, происходившие там, *in der Türkei*, в Турции или в другом месте, как говорили обыватели в *Фаусте*. Во времена Фрейда люди убивали друг друга по всей земле, но по-настоящему он осознал это лишь в 1914 г., когда это коснулось его лично. Тогда он написал свои «Размышления о войне и смерти». Но в коллективном масштабе, что делало влечение к смерти в этот мирный период? Эмигрировало что ли оно в Плевну, в Хартум или в Порт-Артур? Существование периодов мира, действительно, самая большая трудность для любой общей теории войны. Впрочем, это же мож-

но сказать о взрывах расизма, поскольку существуют длинные периоды, во время которых ничего не происходит, во всяком случае, в определенных частях мира.

Десять лет назад Вы говорили об угрозе, которую представляет для сохранения мира во всем мире советский военно-промышленный комплекс. Как с этим обстоит дело сегодня?

Конечно, с тех пор произошли фундаментальные изменения последних лет. Я продолжаю полагать, что данное мной в *Перед войной* [Devant la guerre, 1981] описание русского режима – как метатоталитарного, превратившегося в режим стратократический, не в том смысле, что «полковники» взяли власть, а в том смысле, что все общество было ориентировано на экспансию, которая не могла быть иной, кроме как военной (ибо эта экспансия не могла быть идеологической – идеология умерла) – для того времени было правильным описанием ситуации. И это общество не могло быть реформировано. Есть один пункт, где я ошибался – это когда я говорил, что трудно себе представить, что в этой бюрократии может появиться слой реформаторов. И если можно так сказать, ошибался я отчасти. То, что из этого вышло: в начале – Горбачев и его группа, которые имели реформистские иллюзии, но не были способны хорошо провести эту реформу, потому, что эта система абсолютно не могла быть реформирована, так что эта группа разрушила систему. Русская бюрократия, возможно, единственный в истории пример класса, который самоликвидировался. Ибо конец ему положило не народное восстание, или движение, как это было в Польше, Чехословакии, Германии и т.д. С другой стороны, в Москве в августе 1991 люди на улице не кричали «Демократия, демократия!», но «Россия, Россия!» или «Ельцин, Ельцин!».

У меня возникли затруднения с Вашим определением мира. Была война в Алжире, война в Индокитае. ... С моей точки зрения, войны были в Европе в течение последних двадцати лет.

Тем не менее, давайте будем искренними, я говорил о войнах на европейском континенте после 1945 года. Мне хорошо известно о существовании десятков войн в течение этого периода, возможно, их было больше, чем раньше. Не вызывает никакого сомнения в том, что в этот период европейские власти принимали участия в военных конфликтах в мире. Я не говорю ни что

это менее важно, ни что жизнь алжирцев и индокитайцев стоит меньше, чем жизнь французов, бельгийцев и немцев и т. д. Но по различным причинам я говорил об этом континенте, где прежде зародились два мировых катаклизма, повлиявших на жизнь всех других людей.

В мае 1968 одним из наших центральных мотивов была война во Вьетнаме. Мы были уверены, что могли действовать и эффективно бороться против войны, как прежде против войны в Алжире. То, что происходит сейчас в Югославии, волнует нас гораздо больше, мы растеряны и парализованы. Как выступить в защиту, как действовать по отношению к этой войне?

К сожалению, я не могу ответить на ваше недоумение иначе, как констатируя свое собственное. Нам предлагают подписывать петиции, участвовать в круглых столах, короче делать то, что делают интеллектуалы, которые не умеют ничего другого, в то время когда там люди друг друга убивают. Но можно было бы гораздо больше поговорить об этом сегодня вечером, потому что Балканы фантастически освещают сложность проблемы и трудность нахождения для неё «простых» ответов. Прежде всего, есть груз истории. Смешанное население (к тому же у значительной части населения отец серб, а мать хорватка и наоборот). В спокойном и разумном мире, разумеется, все это не представляет неразрешимой проблемы. Можно сказать: мы создадим автономные коммуны, которые объединятся, как они захотят и т.д. Но не в таком мире мы живем. В частности существуют связанные с идентичностью страсти, обоюдно враждебные мифологии (все хорваты были «сторонниками нацистов», все сербы – «четники» или «коммунисты» и т.д.) Прежде всего, такое смешение населения не позволяет высказаться в пользу референдумов (как в некоторых районах Европы после 1914-1918), потому что районы с преобладанием одного этноса дадут 55% большинства, что далее вызовет гражданскую войну.

В виду того, что происходит сегодня, что позволяет утверждать, что автономное общество однажды будет существовать?

Ничто. Но ничто также не позволяет утверждать противоположное. Нет невозможности, нет, разумеется, никакой необходимости, никакой фатальности. Все зависит от деятельности и от созидательной способности людей. Даже если автономное общество существует, нельзя сказать, что оно не впадет в гете-

рономию в будущем. Нет никакой гарантии, никто не может помешать демократии покончить жизнь самоубийством, или погибнуть, я не знаю в каком, сумасшествии. Но я не думаю, что можно подвести черту, сказав, что проект автономии, возникший в Афинах, пусть даже в весьма ограниченной форме, и возобновленный, начиная с XI века, в Западной Европе (именно здесь: во Фландрии, в Италии и в других местах), что порожденное этим проектом движение (Буш, Миттеран, Коль и общество, в котором мы живем) – это лучшее, что этот проект может дать. Я думаю, как бы это сказать, что это значило бы рассматривать предмет, находящийся в процессе становления, как не подлежащий переделке. Пусть даже сейчас знамения времени и очень мрачны.

Каковы условия, обеспечившие в настоящее время подъем крайне правых в Европе? Почему этот подъем происходит сейчас, а не десять или двадцать лет назад.

Раньше, в интервью, данном мною газете Монд 10 декабря 1991 года, я уже говорил, что я об этом думаю. Меня не слишком убеждает то, что я слышу об антиэмигрантском чувстве и т.д., даже, разумеется, если это чувство существует. Его нельзя понять иначе, чем как в более широком контексте отношения людей к системе. Система, похоже, не держит своих обещаний даже в «материальном» плане. Бесконечный горизонт «прогресса» больше не существует. В этой ситуации люди реагируют очень по-разному. Некоторые – через политическую апатию. Я замечаю, и мне кажется, что я не являюсь здесь жертвой оптимизма, искажающего мое мнение, некоторое, так сказать, волнение среди молодежи, которая в больше мере, чем десять лет назад, готова задавать вопросы, критиковать и, возможно, даже что-то делать. И потом, в другой части населения, где, без сомнения, есть для этого благоприятная почва, мы действительно видим выступления крайне правых. И здесь мы, действительно, обнаруживаем смесь расизма, идейного разброда, злопамятности по отношению к этому обществу и т.д. Затем, не стоило бы недооценивать роль некоторых политических предвыборных маневров президента Миттерана, ведущих к потере избирательных голосов в пользу традиционно правых партий. На мой взгляд, благодаря этим маневрам социалисты окажутся однажды на выборах позади Ле Пена...